

Вожди и искусство

Писатель Константин Симонов (1915–1979) и режиссёр Михаил Ромм (1901–1971) – крупные деятели советской культуры, неоднократные обладатели Сталинских премий. Симонову довелось неоднократно присутствовать на послевоенных встречах с творческой интеллигенцией Сталина, Ромм дважды (в 1962 и 1963 гг.) присутствовал на встречах Хрущёва с деятелями культуры и искусства.

В чём разница между взглядами Сталина и Хрущёва – с одной стороны, Симонова и Ромма – с другой, на художественное творчество? В чём разнятся методы работы Сталина и Хрущёва с деятелями культуры?

Константин Симонов

Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В.Сталине

...Мы все трое – Фадеев, Горбатов и я¹ – сели рядом по одну сторону стола, Молотов и Жданов сели напротив нас, но не совсем напротив, а чуть поодаль, ближе к сидевшему во главе стола Сталину.

<...> Разговор начался с вопроса о гонораре.

– Вот вы ставите вопрос о пересмотре гонораров, – сказал Сталин. – Его уже рассматривали.

– Да, но решили неправильно, – сказал Фадеев и стал объяснять, что в сложившихся при нынешней системе гонораров условиях писатели за свои хорошие книги, которые переиздаются и переиздаются, вскоре перестают что-либо получать. С этого Фадеев перешел к вопросу о несоответствии в оплате малых и массовых тиражей, за которые тоже платят совершенно недостаточно. В заключение Фадеев еще раз повторил, что вопрос о гонорарах был решен неверно.

Выслушав его, Сталин сказал:

– Мы положительно смотрим на пересмотр этого вопроса. Когда мы устанавливали эти гонорары, мы хотели избежать такого явления, при котором писатель напишет одно хорошее произведение, а потом живет на него и ничего не делает. А то написали по хорошему произведению, настроили себе дач и перестали работать. Нам денег не жалко, – добавил он, улыбнувшись, – но надо, чтобы этого не было. В литературе установить четыре категории оценок, разряды. Первая категория – за отличное произведение, вторая – за хорошее и третья и четвертая категории, – установить шкалу, как вы думаете?

Мы ответили, что это будет правильно.<...>

– Хорошо, – сказал Сталин. – Теперь второй вопрос: вы просите штат увеличить. Надо будет увеличить им штат.

Жданов возразил, что предлагаемые Союзом писателей штаты все-таки раздуты. Сто двадцать два человека вместо семидесяти.

– У них новый объем работы, – сказал Сталин, – надо увеличить штаты.

Жданов повторил, что проектируемые Союзом штаты нужно все-таки срезать.

– Нужно все-таки увеличить, – сказал Сталин. – Есть отрасли новые, где не только увеличивать приходится, но создавать штаты. А есть отрасли, где штаты разбухли, их нужно срезать. Надо увеличить им штаты.

На этом вопрос о штатах закончился.

Следующий вопрос касался писательских жилищных дел.

Фадеев стал объяснять, как плохо складывается сейчас жилищное положение у писателей и как они нуждаются в этом смысле в помощи, тем более что жилье писателя – это, в сущности; его рабочее место.

Сталин внимательно выслушал все объяснения Фадеева и сказал, чтобы в комиссию включили председателя Моссовета и разобрались с этим вопросом. Потом, помолчав, спросил:

– Ну, у вас, кажется, все?

До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно жаль: вот сейчас все это оборвется, кончится, да, собственно говоря, уже и кончилось.

– Если у вас все, тогда у меня есть к вам вопрос. Какие темы сейчас разрабатывают писатели?



¹ Руководители Союза писателей (СП) СССР – генеральный секретарь Александр Фадеев, его 1-й заместитель Константин Симонов, секретарь партийной организации Правления СП Борис Горбатов – были приняты И.В. Сталиным по их просьбе 13 мая 1947 г.

Фадеев ответил, что для писателей по-прежнему центральной темой остается война, а современная жизнь, в том числе производство, промышленность, пока находит еще куда меньше отражения в литературе, причем когда находит, то чаще всего у писателей-среднячков.

– Правда, – сказал Фадеев, – мы посылали некоторых писателей в творческие командировки, послали около ста человек, но по большей части это тоже писатели-среднячки.

– А почему не едут крупные писатели? – спросил Сталин. – Не хотят?

– Трудно их раскачать, – сказал Фадеев.

– Не хотят ехать, – сказал Сталин. – А как вы считаете, есть смысл в таких командировках?

Мы ответили, что смысл в командировках есть. Доказывая это, Фадеев сослался на первые пятилетки, на «Гидроцентральный» Шагинян, на «Время, вперед!» Катаева и на несколько других книг.

– А вот Толстой не ездил в командировки, – сказал Сталин.

Фадеев возразил, что Толстой писал как раз о той среде, в которой он жил, будучи в Ясной Поляне.

– Я считал, что когда серьезный писатель серьезно работает, он сам поедет, если ему нужно, – сказал Сталин. – Как, Шолохов не ездит в командировки? – Помолчав, спросил он.

– Он все время в командировке, – сказал о Шолохове Фадеев.

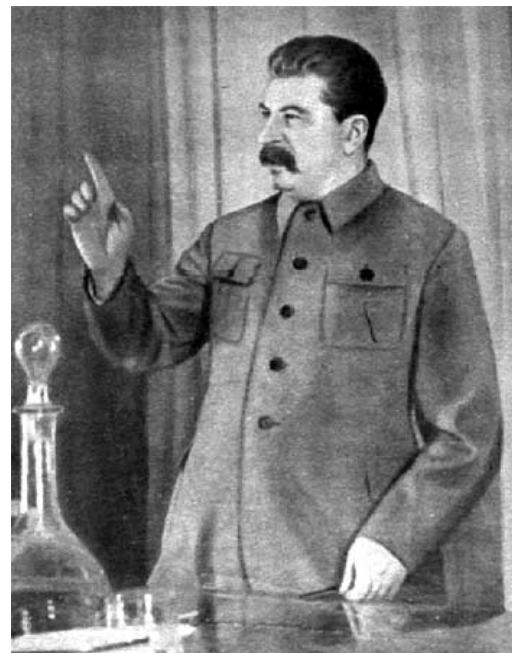
– И не хочет оттуда уезжать? – спросил Сталин.

– Нет, – сказал Фадеев, – не хочет переезжать в город.

– Боится города, – сказал Сталин.

Наступило молчание. <...>

– А вот есть такая тема, которая очень важна, – сказал Сталин, – которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, – сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести, – у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед зарубежной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, – сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: – засранцами, – усмехнулся и снова стал серьезным. <...>



– Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает, – и он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал. – Вот взять такого человека, не последний человек, – еще раз подчеркнуто повторил Сталин, – а перед каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов.

Сталин повернулся к Жданову.

– Дайте документ. <...>

Документ, содержание которого тогда, 14 мая 1947 года, я считал невозможным для себя излагать, был опубликованным затем в печати письмом о так называемом деле Ключевой и Роскина². Появление этого письма в печати было началом той борьбы с самоуничижением,

² В предвоенные годы профессора Н.Г. Ключева и Г.И. Роскин создали противораковый препарат «КР». По просьбе авторов рукопись их вышедшей в Советском Союзе монографии «Биотерапия злокачественных опухолей» (Изд-во АМН СССР, М., 1946) академик-секретарь АМН СССР В. В. Парин во время своего визита в США в 1946 г. в порядке научной информации передал американским издателям. Сталин счел это

самоощущением не стопроцентности, с неоправданным преклонением перед заграничной культурой, о которой Сталин сказал, что в эту точку надо долбить много лет.

Борьба эта очень быстро стала просто и коротко формулироваться как борьба с низкопоклонством перед границей и так же быстро приняла разнообразные уродливые формы, которыми почти всегда отличается идейная борьба, превращаемая в шумную политическую кампанию, с одной стороны, подхлестываемую, а с другой – приобретающую опасные элементы саморазвития. <...>

Фадеев начал читать письмо, которое передал ему Сталин. <...> Сталин ходил, слушал, как читает Фадеев, слушал очень внимательно, с серьезным и даже напряженным выражением лица. Он слушал, с какими интонациями Фадеев читает, он хотел знать, что чувствует Фадеев, читая это письмо, и что испытываем мы, слушая это чтение. Продолжая ходить, бросал на нас взгляды, следя за впечатлением, производимым на нас чтением.

До этого с самого начала встречи я чувствовал себя по-другому, довольно свободно в той атмосфере, которая зависела от Сталина и которую он создал. А тут почувствовал себя напряженно и неудобно. Он так смотрел на нас и так слушал фадеевское чтение, что за этим была какая-то нота опасности – и не вообще, а в частности для нас, сидевших там. Делал пробу, проверял на нас – очевидно, на первых людях из этой категории, на одном знаменитом и двух известных писателях, – какое впечатление производит на нас, интеллигентов, коммунистов, но при этом интеллигентов, то, что он продиктовал в этом письме о Клюевой и Роскине, тоже о двух интеллигентах. Продиктовал, может быть, или сам написал, вполне возможно. Во всяком случае, это письмо было продиктовано его волей – ничьей другой. <...>

Как свидетельствует моя запись, сделанная 14 мая сорок седьмого года, когда письмо было прочитано, Сталин только повторил то, с чего начал:

– Надо уничтожить дух самоуничижения, – и добавил: – Надо на эту тему написать произведение. Роман.

Я сказал, что это скорее тема для пьесы.<...>

Через несколько дней после нашей встречи со Сталиным мне позвонил помощник Жданова Кузнецов и сказал, что я могу заехать к нему и познакомиться с теми материалами, которые мне могут пригодиться для работы.

<...> Это были материалы, связанные все с тем же так называемым делом Клюевой и Роскина. Материалов было не очень много, я прочел их все за тридцать или сорок минут, пока сидел в кабинете у Кузнецова, и, поблагодарив, вернул ему их. Кажется, Кузнецов был чуть-чуть удивлен, как я быстро это прочел, и, когда я поднялся, спросил меня:

– Значит, могу я сказать Андрею Александровичу, что вы познакомились с материалами?

<...> Я был не настолько наивен, чтобы не понимать, какой смысл имело ознакомление с этими дополнительными документами, – очевидно, вырвавшееся у меня замечание, что это скорее тема для пьесы, чем для романа, внушило мысль, что я готов взяться за пьесу на эту тему. Но на самом деле я был несколько не готов к этому, и такое понимание моего чисто профессионального замечания меня встревожило. Пьесу на эту тему в принципе, как мне казалось, я мог бы написать, но не сейчас, когда я сидел над повестью «Дым отечества», которой я решал, как умел, проблемы противопоставления подлинного советского патриотизма патриотизму поверхностному, квасному, связанному с самохвальством и неприятием всего чужого только потому, что оно чужое.

<...> К концу того лета я дописал свой «Дым отечества» <...>. О тех материалах, которые мне показывали, никто не напоминал, мне казалось, что все обошлось и непосредственно на эту тему, связанную с делом Клюевой и Роскина, пьесу или что-то другое пишет кто-то другой. А там, где мне давали смотреть эти материалы, наоборот, как выяснилось впоследствии, считали, что я сижу и пишу именно эту пьесу.

В сентябрьской книжке «Нового мира» были благополучно напечатаны десять рассказов Зощенко с его предисловием, а в ноябрьский номер была поставлена моя повесть.

<...> Я ходил, счастливый сделанным, мне казалось, что, показав высоту духа и нравственной силы людей, поднимающих из праха дотла разоренную войной, истерзанную Смоленщину, и противопоставив все это американскому самодовольству своим образом и уровнем жизни, я

выдачей важнейшей государственной тайны. В.В. Парин был приговорен к 25 годам заключения. Клюева и Роскин, а также снятый со своей должности министр здравоохранения Г.А. Митерев предстали перед «судом чести», по всей стране была проведена широкая кампания осуждения всех участников этой истории как космополитов. После XX съезда КПСС все они были полностью реабилитированы.

выполнил главный свой партийный долг, который внутренне числил за собой после долгой зарубежной поездки и сразу же впритык после нее поездки на Смоленщину. <...> С этим сознанием я дождался выхода журнала и до одного, отнюдь не прекрасного дня – сейчас не помню уж даты, для этого нужно перелистать подшивку газеты «Культура и жизнь» за сорок седьмой год, – когда в этой газете появилась статья о моем любимом «Дыме отечества» с заголовком «Вопреки правде жизни», не обещавшим ничего хорошего.

Историю этой статьи, очень злой и очень невразумительной, а местами просто не до конца понятной в самом элементарном смысле этого слова, впоследствии рассказал мне работавший в то время в ЦК, затем мой соратник по «Литературной газете», ныне покойный Борис Сергеевич Рюриков. Моя повесть ему нравилась, и, когда Жданов, которому повесть тоже нравилась, спросил, кто готов быть автором статьи о «Дыме отечества» в органе агитпропа – директивной по своему духу и предназначению газете «Культура и жизнь», – Рюриков вызвался написать статью, положительно оценивавшую мою повесть. И вызвался, и написал, и она уже стояла в полосе газеты, когда вдруг все перевернулось. Жданов вернулся от Сталина, статью Рюрикова сняли из номера, к Жданову был вызван другой автор, которому предстояло вместо этой написать другую статью, и он в пожарном порядке, выслушав соответствующие указания, написал в задержанный номер то самое, что я на следующий день, не веря своим глазам, прочел. Почему не веря своим глазам? Потому что я понял, что так же, как удар по «Молодой гвардии» Фадеева, который наносился в том же номере газеты, на том же листе, разгромная статья о «Дыме отечества» появилась только потому, что повесть резко не понравилась Сталину. <...>



Я несколько раз читал и перечитывал статью, некоторые, так и оставшиеся для меня непонятными ее пассажи напоминали испорченный телефон. Мне вдруг пришло в голову, что рассерженный Сталин мог что-то недоброжелательное и злое говорить об этой повести, – а говорил он, особенно когда прохаживался, не очень заботясь о том, хорошо ли слышат его <...> Так вот я и представил себе, что он выражал свое неудовольствие в формулировках, часть которых расслышали, а часть нет. Он был очень недоволен, но чем именно, расслышали не все и не до конца, а переспрашивать его, очевидно, было не принято.

<...> С неделю я ходил и думал о том, что же не так в моей повести. <...> Я очень старался понять, чем недоволен Сталин. Я не злился ни на статью, ни на ее автора – это было все равно, что злиться на стул, о который ты ушибся, наткнувшись на него. Я был огорчен и хотел понять, что же я сделал не так. <...>

Через неделю я попросил, чтоб меня принял Жданов <...> Я не скрывал ни своей растерянности, ни меры своего огорчения и непонимания.

Жданов терпеливо около часа пробовал объяснить мне, что не так в моей повести. Он не выходил при этом за пределы статьи, напечатанной в «Культуре и жизни», и говорил о том же самом – умнее, тоньше и интеллигентней, чем это было написано. Но чем больше он мне объяснял, тем явственнее у меня возникало чувство, что он сам не знает, как мне объяснить то, что написано в статье; что он, как и я, не понимает, ни почему моя повесть так плоха, как об этом написано, ни того, что с ней дальше делать. <...> Я поблагодарил за беседу, ушел, так ничего нового для себя и не вынес из нее, так и не поняв, что в ней не так и что мне с ней надо делать.

<...> Через некоторое время после беседы со Ждановым меня пригласил к себе его помощник Кузнецов и спросил меня, как у меня обстоят дела с тою пьесой, с материалами для которой он меня ознакомил весной после нашей встречи с товарищем Сталиным. Нуждаюсь ли я еще в какой-нибудь помощи, кроме той, которая мне была уже предоставлена, когда меня познакомили с материалами.

До этого я был так оглушен всем, происшедшим с «Дымом отечества» и фадеевской «Молодой гвардией» – это тоже было тогда немалое потрясение, – что мне не приходило в голову ставить в связь напечатанный мною «Дым отечества» с не написанной мною пьесой. Только тут, сидя у Кузнецова, я понял, что, наверное, такая связь существует, что, помимо всего прочего, от меня вовсе не ждали этой повести, а ждали той пьесы, написание которой числилось как бы за мною с того самого дня, когда мы были у Сталина. <...> И я вдруг, ни минуты не размышляя, сказал Кузнецову, что пьесу я писать буду <...>

Писал я ее без дурных намерений, писал мучительно, насильственно, заставляя себя верить в необходимость того, что я делаю. А особенно мучился потому, что зерно правды, которое воистину присутствовало в словах Сталина о необходимости уничтожить в себе дух

самоуничтожения, уже в полной мере присутствовало в написанной вольно, от души, может быть, в чем-то неумело, но с абсолютной искренностью и раскованностью повести «Дым отечества». В «Чужую тень» это зерно правды было притащено мною искусственно, окружено искусственно созданными обстоятельствами и в итоге забито такими сорняками, что я сейчас только с большим усилием над собою заставил себя перечитать эту стыдную для меня как для писателя конъюнктурную пьесу, которую я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать, что бы ни было, не должен был. <...>

В Москве «Чужую тень» поставил МХАТ, в Ленинграде – Большой драматический. Несмотря на все отрицательные стороны пьесы – ее грубую прямолинейность, ложную патетику, фальшивые ноты в рассуждениях о науке и низкопоклонстве в одних местах, ряд психологических натяжек в других, Ливанов и Болдуман силой своих незаурядных актерских дарований как-то вытащили свои роли, сыграли их, совершив почти невозможное. То же самое можно сказать и о Полицеймако в Большом драматическом театре.

Пьесу и спектакли густо хвалили в печати, ей была присуждена Сталинская премия, но все это среди многих происходивших в том, сорок девятом году тяжелых событий было уже для меня как-то безрадостно или почти безрадостно.

http://www.hrono.info/dokum/197_dok/19790306sim.html

http://www.hrono.info/dokum/197_dok/19790307sim.html

http://www.hrono.info/dokum/197_dok/19790309sim.html

М.И. Ромм о встречах Н.С. Хрущёва с творческой интеллигенцией.

<...> В декабре шестьдесят второго года я получил приглашение на прием в Дом приемов на Ленинских горах.

Приехал. Машины, машины, цепочка людей тянется. Правительственная раздевалка. На втором этаже анфилады комнат, увешанные полотнами праведными и неправедными. И толпится народ, человек 300, а то, может быть, и больше. Все тут: кинематографисты, поэты, писатели, живописцы и скульпторы, журналисты, с периферии приехали – вся художественная интеллигенция тут. Гудит всё, ждут, что будет.

<...> Ну, расселись все. С одного конца раздался такой звонок, что ли.

Хрущев встал и сказал, что вот мы пригласили вас поговорить, но чтобы разговор был позадушевнее, получше, пооткровеннее, сначала давайте закусим. Закусим, а потом поговорим.

Хрущев еще извинился, что нет вина и водки, и объяснил, что не надо пить, потому что разговор будет, так сказать, вполне откровенный...

Примерно час ели и пили. Наконец подали кофе, мороженое.

Хрущев встал, все встали, зашумели, загремели стулья, повалил народ в анфилады.

Перерыв.

Кончился перерыв, все устремились обратно в зал. Уже столы убраны, я оказался в другом месте. Началось с доклада... Запомнилось несколько выступлений. В одном назвали меня провокатором, политическим недоумком, клеветником, а заодно разносили Щипачева... Суть другого выступления сводилась к тому, что коменданты лагерей были прекрасные коммунисты...

А реплики Хрущева были крутыми, в особенности когда выступали Эрэнбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо.

Вот когда фигура Хрущева оказалась совсем новой для меня.

Вначале он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия, вот угощаю вас, кушайте, пейте. Мы все вместе тут поговорим по-доброму, по-хорошему.

И так это он мило говорил – круглый, бритый. И движения круглые. И первые реплики его были благостные.

А потом постепенно как-то взвинчивался, взвинчивался и обрушился раньше всего на Эрнста Неизвестного. Трудно было ему необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, ну ничего решительно. И так он старается объяснить, что такое красиво и что такое некрасиво; что такое понятно для народа и непонятно



для народа. И что такое художник, который стремится к «коммунизму», и художник, который не помогает «коммунизму». И какой Эрнст Неизвестный плохой. Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И наконец нашел, нашел и очень обрадовался этому, говорит: «Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите».

Говорит он это под хохот и одобрение интеллигенции творческой, постарше которая,— художников, скульпторов да писателей некоторых.

И тут же: «И что это за фамилия – Неизвестный? С чего это вы себе псевдоним такой выбрали – Неизвестный, видите ли. А мы хотим, чтобы про вас было известно».

Неизвестный говорит:

– Это моя фамилия.

А ему:

– Ну что это за фамилия – Неизвестный?

И в таких репликах, то злых, то старательно педагогических, прошло уже два или три часа. Все устали. Видим мы, что ничьи выступления – ни Эренбурга, ни Евтушенко, ни Щипачева – очень хорошие, ну просто никакого впечатления, отскакивают как от стены горох, ну ничего, никакого действия не производят. Взята линия, и эту линию он старается разжевать.

Наконец берет заключительное слово. Из этого заключительного слова запомнились мне несколько абзацев.

Начал он его опять же мягко. Ну вот, говорит он, мы вас тут, конечно, послушали, поговорили, но решать-то будет кто? Решать в нашей стране должен народ. А народ – это кто? Это партия. А партия кто? Это мы. Мы – партия. Значит, мы и будем решать, я вот буду решать. Понятно?

– Понятно.

– И вот еще по-другому вам скажу. Бывает так: заспорит полковник с генералом, и полковник так убедительно все рассказывает, очень убедительно. Генерал слушает, слушает, и возразить вроде нечего. Надоест ему полковник, встанет он и скажет: «Ну вот что, ты – полковник, я – генерал. Направо кругом марш!» И полковник повернется и пойдет – исполнять! Так вот, вы – полковники, а я, извините,— генерал. Направо кругом марш! Пожалуйста.

<...> Вот так закончилось это заседание на Ленинских горах. Расходились все сытые, но тревожные, со смущенной душой, не понимая, что будет. Дела после этого пошли плохо, стали завинчиваться гайки, стали помещаться письма, разоблачительные статьи. В общем, начался разгром. Всем провинившимся пришлось лихо в это время. <...>

И вдруг приходит снова повестка-письмо: снова приглашают меня на какое-то совещание творческой интеллигенции с руководством. Но на этот раз совещание не на Ленинских горах, а в Кремле, в Свердловском зале.

Итак, вторая встреча.

Продолжалась она два дня, в один день не уложились. Началась с утра.

Пришел я в Кремль, в Свердловский зал. Те же люди, та же творческая интеллигенция, только вдвое больше народу. На Ленинских горах было человек 300, а здесь 600, а то и 650. И мелькают между знакомых лиц какие-то неизвестные молодые люди, в скромных темных костюмчиках, аккуратных воротничках. Обстановка сугубо официальная. Зал идет амфитеатром, скамьи. А напротив на специальном возвышении места для президиума, трибуна для выступающего. Аккуратный, красивый, холодный зал.

<...> Потом пошло, пошло – то же, что на Ленинских горах, но, пожалуй, хуже. Уже никто возражать не смел. Щипачеву просто слова не дали. Мальцев попробовал было что-то вякать про партком Союза писателей, на который особо нападали, но его стали прерывать и просто выгнали, не дали говорить. А те, кто говорил, благодарили за то, что в искусстве наконец наводится порядок и что со всеми этими бандитами (иначе их уже не называли – абстракционистов и молодых поэтов), со всеми этими бандитами наконец-то расправляются.

<...> И вот наступил второй день, так сказать, третья моя встреча с Хрущевым.

<...> Начался день как-то скучновато. Все та же жеванина, родство поколений, спасибо Никите Сергеевичу, искусство питается соками народа – и пошло, шло, шло...

Ну-с, вот вышел Вознесенский. Ну тут начался гвоздь программы. Я даже затрудняюсь как-то рассказать, что тут произошло. Вознесенский сразу почувствовал, что дело будет плохо, и поэтому начал робко, как-то неуверенно. Хрущев почти мгновенно его прервал – резко, даже грубо,— и,

взвинчивая себя до крика, начал орать на него. Тут были всякие слова: и «клеветник», «что вы тут делаете?», и «не нравится здесь, так катитесь к такой-то матери», «мы вас не держим». «Вам нравится там, за границей, у вас есть покровители – катитесь туда! Получайте паспорт, в две минуты мы вам оформим. Оформляйте ему паспорт, пусть катится отсюда!»

Вознесенский говорит: «Я здесь хочу жить!»

– А если вы здесь хотите жить, так чего ж вы клеветаете?! Что это за точка зрения... на Советскую власть!

Трудно даже как-то и вспомнить весь этот крик, потому что я не ожидал этого взрыва, да и никто не ожидал – так это было внезапно. Мне даже показалось, что это как-то несерьезно, что Хрущев сам себя накачивает, взвинчивает. Пока вдруг во время очередной какой-то перепалки, пока Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг не прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, не закричал:

– А вы что скалите зубы! Вы, очкарик, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке! Вы что зубы скалите? Подождите, мы еще вас послушаем, дойдет и до вас очередь!

Вознесенский не знает, что продолжать, говорит:

– Я честный, я за Советскую власть, я не хочу никуда уезжать.

Хрущев машет рукой:

– Слова все это, чепуха.

Вознесенский говорит:

– Я вам, разрешите, прочту свою поэму «Ленин».

– Не надо нам вашей поэмы.

– Разрешите, я ее читаю.

– Ну, читайте.

Стал читать он поэму «Ленин». Читает, ну не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу движет. Рядом с ним холодный Козлов.

Прочитал он поэму, Хрущев махнул рукой:

– Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего! Вот что я вам скажу. Сколько у нас в Советском Союзе рождается ежегодно людей?

Ему говорят: три с половиной миллиона.

– Так. Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы – ничто, вы только один из этих трех с половиной миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите: вы – ничто.

Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню, и Хрущев заканчивает так:

– Вот что я вам посоветую. Знаете, как бывает в армии, когда поступает новобранец негодный, неумеющий, неспособный? Прикрепляют к нему дядьку, в былое время из унтер-офицеров, а сейчас из старослужащих солдат. Так вот, я вам посоветую такого дядьку.

<...> Наконец слово было предоставлено Налбандяну, он отложил очередной эскиз, сказал свое «спасибо» Никите Сергеевичу, сел. Последовало заключительное слово Хрущева.

